
СОДЕРЖАНИЕ

Введение:	
Приключения с коробкой гальтона	9
Глава 1. ВСЕ ГЕНИАЛЬНОЕ ПРОСТО: АФИНЫ	21
Глава 2. ГЕНИЙ НЕ ИЗОБРЕТАЕТ НОВОЕ: ХАНЧЖОУ	71
Глава 3. ГЕНИЙ СТОИТ ДОРОГО: ФЛОРЕНЦИЯ	101
Глава 4. ГЕНИЙ ПРАКТИЧЕН: ЭДИНБУРГ	143
Глава 5. ГЕНИЙ ХАОТИЧЕН: КАЛЬКУТТА	185
Глава 6. ГЕНИЙ СПОНТАНЕН: ВЕНА МУЗЫКАЛЬНАЯ	217
Глава 7. ГЕНИЙ ЗАРАЗИТЕЛЕН: ВЕНА НА КУШЕТКЕ	251
Глава 8. ГЕНИЙ СЛАБ: КРЕМНИЕВАЯ ДОЛИНА	287
Эпилог:	
Печь хлеб и удерживать равновесие	321
Благодарности	327
Избранная библиография	329
Об авторе	337



ВВЕДЕНИЕ: ПРИКЛЮЧЕНИЯ С КОРОБКОЙ ГАЛЬТОНА

Что я за фрукт, окружающим стало понятно, еще когда я был ребенком. В десять лет я решил выяснить, что будет, если воздушный шарик наполнить водой и сбросить с балкона нашей квартиры на пятнадцатом этаже. Чем я хуже Ньютона и Дарвина? Надо поставить опыт и разобраться!

«Ну, ты даешь!» — только и вымолвил потрясенный автовладелец. Ему пришлось заменить ветровое стекло, пострадавшее в ходе моего эксперимента. Что поделать — всего не предусмотреть! Научного прогресса без жертв не бывает.

А через несколько лет случился новый инцидент — с камином, закрытым дымоходом... и местной пожарной частью. До сих пор живо помню, каким тоном пожарный произнес: «Тоже мне гений».

Увы, я не гений. А потому нахожусь в быстро тающем меньшинстве. Таких, как я, скоро останутся единицы — ведь число гениев растет не по дням, а по часам. Кого только не называют гениями, от теннисистов до программистов. У нас есть «гении моды», «кулинарные гении» и, конечно же, «гениальные политики». Наши дети — сплошь маленькие

Эйнштейны и Моцарты. Если у нас возникла проблема с продукцией Apple, мы идем в раздел Genius Bar («Бар гениев») на сайте компании. Да и лавина книг «Сделай сам» наводит на мысль, что в каждом из нас кроется гений (в моем случае — скорее скрывается). И нам это льстит. Вот только если каждый человек гений, то так ли это почетно?

Я уже давно с интересом наблюдаю за тем, как развивается (или, точнее, вырождается) понятие гения. Тема гениальности занимает мой ум так же, как тема одежды занимает ум человека, оставшегося нагишом. Если мы катимся по этой спирали вниз, есть ли для нас (и для меня в том числе) какая-то надежда?

Гений. Слово пленительное, но каков его смысл? Оно восходит к латинскому *genius*, которое во времена Древнего Рима означало нечто иное, чем в наши дни. «Гением» называли духа — эдакого «родителя-вертолета»¹, только сверхъестественного, который опекал каждого человека. Свой гений был у каждого человека и у каждого места. Города, поселки, рыночные площади — у всех был свой дух-покровитель, *genius loci* («гений места»). Откуда же тогда взялось нынешнее определение «гения»: «необычайные интеллектуальные способности, особенно проявленные в творчестве»?² Оно пришло к нам от романтиков XVIII века, этих печальных поэтов, которым пришлось немало *претерпеть* за свое искусство и свою, как мы сказали бы сейчас, *креативность*. Кстати, последнее слово возникло совсем недавно — в 1870 г., а широко распространилось и того позже — лишь в 1950-х гг.

Иногда гениями называют интеллектуалов — людей с высоким IQ, но это слишком узкое и обманчивое понимание: многие обладатели высочайшего IQ ничего не сделали в жизни, а многие люди со «средним» IQ, наоборот, совершили что-либо великое. Я же веду речь о гении в творческом смысле слова — о гениальности как высшей форме творчества.

Больше всего мне нравится определение творческого гения, которое дала психолог Маргарет Боден, специалист по искусственному интеллекту. По ее словам, творческий гений — это человек, наделенный

¹ В Америке так называют родителей, которые чрезмерно опекают своих отпрысков, постоянно отслеживая их деятельность, как вертолеты сопровождения. — *Прим. пер.*

² Определение взято из популярного словаря Merriam-Webster's Collegiate Dictionary. — *Прим. пер.*

«способностью выдвигать идеи новые, неожиданные и ценные». Таким критерием пользуется и Патентное ведомство США, решая, заслуживает ли патента то или иное открытие.

Представьте себе простую кофейную чашку. Я могу раскрасить ее, придав необычный флюоресцентный ярко-оранжевый цвет. Это будет ново, но не слишком неожиданно, да и пользы не принесет. Я могу также выдумать чашку без дна. Без сомнения, это неординарно и вызывает удивление, но пользы в этом снова никакой. Чтобы заслужить патент, мне придется изобрести, скажем, самоочищающуюся чашку или складную чашку, которая превращается во флешку. Тогда она будет удовлетворять всем трем критериям: новизна, неожиданность и польза. Чтобы получить патент или прослыть гением, нужно сделать не несколько мелких шажков, а решительный скачок.

Но меня, любителя географии и истории, интересует не только то, *какие* скачки были сделаны в истории человечества, но и то, *где* и *когда* они были сделаны. Поэтому я задумал еще один эксперимент (на сей раз без шарика с водой). Я отправился в Большое Путешествие. Знаете, из тех путешествий за границу, которые совершали в XVIII–XIX веках молодые английские дворяне, чтобы расширить свой кругозор. Конечно, я не дворянин и, как уже сказал, не гений. Колледж был для меня временем дешевого пива и неподходящих женщин. Учиться можно было бы и получше. Но на сей раз, сказал я сам себе, все будет иначе. На сей раз я последую совету тестя. «Молодой человек, — мягко втолковывал он мне, — вам нужно о-бра-зо-вы-вать себя».

Мое образование начинается в Лондоне, который дал миру не только гениев, но и изучение природы гения. Если вас, как и меня, увлекает эта тема (или вам нравится тайком втыкать булавки во что-нибудь мягкое), вас заинтересует коробка Гальтона. А найдете вы ее там же, где и я, — в Университетском колледже Лондона.

Пасмурным утром, когда в воздухе уже пахнет весной, я сажусь в метро и доезжаю до станции «Кингс-Кросс». А там рукой подать до университетского городка, чем-то напоминающего Хогвартс. Меня встречает обаятельная Субхадра Дас, хранительница коробки. В ее улыбке и взгляде есть что-то ободряющее. Она ведет меня неказистым коридором в непримечательный зал, где покоится на столе эта коробка. Надевает латексные перчатки и бережно, словно делая нейрохирургическую операцию мышонку, погружает руки в коробку.

Коробка содержит вещи сэра Фрэнсиса Гальтона — странные вещи странного и талантливого человека. Этот ученый-энциклопедист и кузен Чарльза Дарвина, живший в XIX веке, принес миру статистический анализ и опросник, фоторобот и дактилоскопию. Он же был одним из первых метеорологов. Ему принадлежит антитеза «природа или воспитание» (англ. nature versus nurture). Его IQ составлял около 200.

Девиз Гальтона гласил: «Считай все, что можешь сосчитать!» Чем бы он ни занимался, он внедрял вычисления. А однажды признался, что не в состоянии полностью понять проблему, пока не «освободит ее от слов». В социальном плане Гальтон был крайне нескладным: с числами ему было проще, чем с людьми.

Субхадра достает из коробки кусочек войлока и несколько булавок. Осторожно раскладывает их на столе. Эти вещи остались от одного из самых странных экспериментов Гальтона — попытки составить «карту красоты». Ученый решил выяснить, где в Великобритании живут самые красивые женщины, а затем нанести результаты на карту. Но как подступиться к этой задаче? Времена были викторианские, а Гальтон отличался застенчивостью, так что конкурс красоты отпадал.

В результате он придумал следующее. Приехав в очередной город, он вставал на перекрестке оживленной улицы. В кармане сюртука у него лежала булавка и лоскут войлока. Если он видел красивую (по его мнению) женщину, он втыкал булавку в одну часть лоскута, если не очень красивую — в другую, а если некрасивую — в третью. Так он объездил все Соединенное Королевство, потихоньку оценивая женские достоинства и, видимо, не вызывая недоуменных взглядов. Вот вывод, к которому он пришел: больше всего красавиц живет в Лондоне, а больше всего дурнушек — в шотландском Абердине.

«Карта красоты» не вызвала у публики интереса. Однако эпохальная книга «Наследственность таланта» (Hereditary Genius, 1869) была замечена. В ней Гальтон детально исследовал семейные родословные известных деятелей искусства, государственных мужей и спортсменов. Он выдвинул версию, что своим успехом эти люди обязаны «природным способностям» (мы бы сказали: генетике)¹. По Гальтону, генетика объясняет все. Она объясняет, почему в одной семье может

¹ Здесь и далее цит. по изд.: Гальтон Ф. Наследственность таланта. — СПб., 1875. — Прим. пер.

быть несколько знаменитостей, а в другой ни одной. Она объясняет, почему процветают общества с большим числом эмигрантов и беженцев: пришельцы «способны внести в народ благородную кровь». Она объясняет, почему одни нации успешнее других (к сожалению, глава, посвященная этой теме, получила неудачное название «Сравнительное достоинство различных рас»). Она объясняет, почему великие цивилизации пришли в упадок: скажем, древние афиняне не сохранили чистоту породы. А в итоге становится ясно, почему все гении были белыми людьми, подобно самому Гальтону, да еще жителями маленького и мрачного острова неподалеку от континентальной Европы. Что касается женщин, Гальтон упоминает их лишь вскользь, в главе «Писатели».

Книга Гальтона была хорошо принята публикой. И это неудивительно: ведь она научным языком объясняла то, что люди подозревали издавна, — гениями рождаются, а не становятся.

Субхадра осторожно возвращает булавки и войлок в коробку Гальтона. Она признается, что испытывает смешанные чувства по отношению и к коробке, и к самому Гальтону, который происходил из состоятельной семьи и не сознавал, какие преимущества это дает ему и его друзьям.

«Он думал, что положение человека в обществе определяется его способностями», — вздыхает Субхадра. Впрочем, соглашается она, Гальтон был чрезвычайно талантливым человеком. Он первым стал измерять то, что считалось не поддающимся измерению, и — Субхадра снимает перчатки — «ставить под сомнение то, в чем не сомневались». Гальтон в одиночку вырвал тему творческого гения из рук поэтов и мистиков, передав ее ученым.

Впрочем, его концепция наследственного таланта была глубоко ошибочной. Гениальность не передается так, как передаются голубые глаза или лысина. Не надо думать, что есть ген гениальности и гений может родиться лишь от гениев. Не изменения генофонда определяют взлеты и падения цивилизаций. И все же гены вносят свой вклад в творческую одаренность, хотя и очень небольшой (по оценке психологов, от 10 до 20%).

Мифу о врожденной гениальности пришел на смену миф о том, что гениями становятся. На первый взгляд кажется: почему бы и нет? Как показало одно известное исследование, труд — залог успеха: 10 000

часов тренировок в течение десяти лет — и ты мастер. А там и гениальность не за горами. Иными словами, современная психология эмпирически подтвердила старую формулу Эдисона: гений — это 99% пота и 1% вдохновения.

Без сомнения, без труда ничего не выйдет. Но одного лишь труда недостаточно. Нужно что-то еще. Вот только что именно? Этот вопрос мучает меня, пока я быстро шагаю мимо викторианских особняков. Запах весны сменился легкой, но нескончаемой моросью...

Спустя несколько месяцев я попадаю в еще один университетский городок, расположенный на другой стороне земного шара. И снова вижу коробку — на сей раз с картотечными карточками. На каждой карточке — их, должно быть, тут сотни — четким и убористым почерком записано историческое событие и какой-нибудь известный человек, живший в то время. Например: «Микеланджело, великий художник итальянского Возрождения». Карточки систематизированы по датам и странам. Все очень методично, «по-гальтоновски». Однако хозяин коробки жив, здоров и энергично пожимает мою руку в знак приветствия.

Дин Кит Симонтон — подтянутый мужчина с бронзовой от загара кожей. Сейчас он в творческом отпуске — но об этом ни за что не догадаешься, глядя на его бьющую через край энергию и под завязку забитый график. Одет Симонтон в джинсы, шлепанцы и футболку с портретом Оскара Уайльда. (У него собралась целая коллекция футболок с изображением гениев.) К книжной полке прислонен горный велосипед. Тихо играет музыка Шуберта. Сквозь окна льются лучи калифорнийского солнца.

Симонтон — профессор психологии из Калифорнийского университета в Дэвисе и, как он сам себя называет, «интеллектуальный спелеолог». Его манят темные и неизведанные глубины, куда не каждый отважится проникнуть. В этом смысле он напоминает Гальтона. А еще, подобно Гальтону, Симонтон увлечен темой гениальности и имеет страсть к цифрам. («Как ваши дифференциальные уравнения?» — спрашивает он меня. Э-э... Да как-то не очень. А ваши?)

Однако, в отличие от Гальтона, Симонтон не втыкает булавки в булавки. Это хорошо чувствующий себя в обществе и легкий в общении человек. В отличие от Гальтона он вырос в простой рабочей семье — его отец даже школу не закончил. И еще одно важнейшее отличие:

Симонтону чужды националистические предрассудки. Он ясно видит мир и сумел понять кое-что важное.

Увлечение Симонтона, как у многих других, уходит корнями в детство. Когда он ходил в «нулевой» класс, родители купили «Всемирную энциклопедию». Она поразила воображение мальчика. Пока сверстники пялились на фотографии бейсболистов и поп-звезд, он часами вглядывался в лица Эйнштейна, Дарвина и других гениев. Уже в этом возрасте его интересовали не только достижения великих людей, но и то, как пересекались их судьбы. Как Леонардо да Винчи и Микеланджело бранились на улицах Флоренции. Как Фрейд и Эйнштейн болтали в берлинской кофейне.

В колледже Симонтон слушал лекции по всемирной истории, но (ученый есть ученый!) испещрял свои письменные работы математическими формулами — «Слава прямо пропорциональна частоте упоминания имени, то есть $F = n(N)$ » — и ссылками на законы термодинамики. Ошеломленный преподаватель отреагировал жесткой отповедью: «Если вы полагаете, что исторический процесс обладает такой же строгостью, как законы математики, то ничего не понимаете в истории». Симонтон потратил 50 лет, чтобы доказать, что профессор ошибался. Он защитил диссертацию по психологии и посвятил себя зарождающейся ветви научного познания — гениологии.

Это было непросто. Ученые хвалятся широтой воззрений, но не любят смутьянов. А в 1960–1970-х гг. творчество и гениальность считались темами несерьезными. Казалось бы, странно: разве не вузы должны выпускать гениев? Однако все в порядке вещей. Как метко заметил писатель Роберт Градин, «общество предпочитает не трогать два вида тем: те, которые презирает, и те, которыми дорожит». Изучение гениальности попадает в обе категории. В теории мы восхищаемся творцом-одиночкой, который отважно преодолевает инерцию среды и косность посредственностей. Но втайне (а может, и не втайне) презираем «всезнайку», особенно если его идеи необычны и опасны.

«Когда я говорил, что хочу изучать гениальность, люди крутили пальцем у виска, — смеется Симонтон. — Мне перечисляли научные журналы, в которых меня не опубликуют». Но Симонтону, по его признанию, было не занимать упрямства. Он решил доказать, что его критики ошибаются.

Десятки лет Симонтон разрабатывал странную и увлекательную дисциплину под названием историометрия: изучение прошлого методами современной социальной науки, особенно статистики. Историометрия — это своего рода психологическая аутопсия, с тем лишь отличием, что «вскрытию» подвергается не отдельный человек, а целое общество. Однако ее интересуют не те события, которые являются предметом традиционной исторической науки, вроде войн, убийств или природных катаклизмов. В центре ее внимания находятся яркие исторические периоды, которые были ознаменованы удивительными произведениями искусства, глубокими философскими изысканиями и научными прорывами.

Симонтон очень быстро подметил явление, ключевое для историометрии: число гениев меняется от места к месту и от эпохи к эпохе. Гении не разбросаны случайно (один в Сибири, другой в Боливии), а возникают группами. Где есть один гений, там есть и другие гении — вспомним хотя бы Афины середины V века до н. э. или Флоренцию начала XV века н. э. Те или иные места в те или иные времена порождают соцветия блестящих умов и ярких идей.

Но почему? Теперь мы знаем, что дело не в генетике. Золотые века возникают и заканчиваются намного быстрее, чем меняются генофонды. Так в чем же тогда причина? В климате? В деньгах? В слепой случайности?

Обычно мы смотрим на творческую гениальность иначе. Мы думаем, что гениальность — дело сугубо «внутреннее». Но чем тогда объяснить соцветия гениев? И будь творчество лишь внутренним процессом, психологам удалось бы выявить универсальный «профиль творческой личности». Однако они этого не сделали и едва ли сделают. Гении могут быть и мрачными интровертами, как Микеланджело, и жизнерадостными экстравертами, как Тициан.

Подобно Гальтону, мы подошли к делу с неправильной стороны и задаем неправильные вопросы. Надо спрашивать не «*Что* есть творчество?», а «*Где* есть творчество?». Я веду речь не о театрах и ресторанах больших столиц. Все это — *следствие* творчества, а не источник. Я говорю и не о бесплатном питании и креслах-мешках — меня интересуют глубинные условия, зачастую неожиданные, которые становятся благодатной почвой для расцвета золотого века. Одним словом, я говорю о культуре.

Культура — это не только «набор общих подходов, ценностей и целей» (как полагает словарь)¹. Это великий и незримый океан, в котором мы существуем. Или, если выразиться современным технологическим языком, культура — это общая IT-сеть. Да, она капризна и слишком часто ломается. Но без нее мы не можем толком общаться и действовать. Лишь сейчас мы начинаем глубже понимать взаимосвязь между культурной средой и самыми творческими идеями. Симонтон и несколько его коллег потихоньку разработали новую теорию креативности, которая объясняет, при каких обстоятельствах появляются гении.

Я хочу исследовать географию гения: облечь цифры Симонтона в плоть и кровь. Да, это нелегкая затея: соцветия гениев обусловлены не только местом, но и временем — нередко далеким от настоящего. Как судить о былом? Ведь нынешние Афины сильно отличаются от Афин Сократа. И все же я надеюсь, что остается какой-то дух места — «гений места».

Я сообщаю Симонтону о своих планах и получаю одобрительный кивок. Я уже направляюсь к выходу, когда он произносит имя: Альфонс Декандоль.

— Никогда не слышал о нем.

— Еще бы, — улыбается Симонтон.

Оказывается, это швейцарский ботаник, современник Гальтона. Гипотезу о наследственности таланта он считал абсолютно неверной, о чем и написал в своей книге (1873). Декандоль детально и убедительно объяснил, что гениальность обусловлена окружающей средой, а не генетикой. В отличие от Гальтона он учитывал свои культурные предрассудки. Скажем, того или иного швейцарского ученого он признавал гением лишь в том случае, если таково было мнение ученых за пределами Швейцарии. Его книгу «История науки и ученых за два века» Симонтон называет «одной из величайших книг, когда-либо написанных о гениальности».

Кто сейчас о ней помнит? Люди не пожелали слушать Декандоля.

— Это просто дружеское предупреждение, — говорит Симонтон на прощание.

¹ Определение взято из словаря Merriam-Webster's Collegiate Dictionary. — *Прим. пер.*

Я выхожу на улицу, в дремотный полдень. Прохожу улочками кампуса к бару. Заказываю крепкий напиток и задумываюсь. Что делать дальше?

Я выбрал шесть исторических мест, не считая «здесь и теперь». Среди них есть города крупные (Вена начала XX века) и совсем крошечные по современным меркам, вроде Флоренции времен Возрождения. О некоторых местах (как Древние Афины) знают многие, о других (скажем, Калькутте XIX века) — мало кто. Но каждое из этих мест олицетворяет один из пиков человеческих достижений.

Почти все это — города. Мы любим природу — тропинку в лесу и плеск водопада, но в городской среде есть нечто, способствующее творчеству. Как гласит африканская пословица, нужна деревня, чтобы вырастить ребенка. А чтобы вырастить гения, нужен город.

Я обдумываю предстоящие странствия, и в голове рождаются все новые вопросы. В какой атмосфере жили эти гении? Всегда в одной и той же — или разной? Ведь было же что-то в самом воздухе этих мест. Но было ли оно одинаковым? И когда *zeitgeist* (дух времени) исчез, исчез ли вместе с ним гений места? Или какие-то следы остаются?

Но один вопрос постепенно вытесняет все прочие: не «как?» и «что?», а «зачем?». *Зачем* мне это путешествие? Напрашивается ответ, что это естественный следующий шаг в составлении летописи величайших достижений человечества — будь то погоня за счастьем или поиски вершин духа. Надеюсь ли я в глубине души, что и на меня снизойдет гениальность? Увы: я уже не молод, и мечты стать новым Эйнштейном или новым Леонардо давно канули в небытие (вместе с шевелюрой). Но у меня есть девятилетняя дочь, яркая и одаренная. Может, у нее получится? У нее есть все шансы — а какой отец не мечтает втайне, что из его ребенка вырастет новый Дарвин или Мария Кюри? Потому-то мы склонны направлять свою энергию на *них* — скажем, прививать им любовь к знанию и умение обучаться или показывать всю широту открывающихся интеллектуальных возможностей.

Быть может, мы беспокоимся за гены, которые передали им. Но в моем случае это не так: моя дочь приемная, родом из Казахстана — невротические гены моего рода не скажутся на ней. Мы с женой можем дать ей лишь воспитание, а не природу. И мне кажется, это важнее всего.

Как только не называли семью: клан, племя, «один из шедевров природы» (Джордж Сантаяна), «гавань в бездушном мире» (Кристофер Лэш). Все это верно. Однако семья — это еще и микрокультура, на которую мы влияем более непосредственно и глубоко, чем на любую другую культуру. Подобно всем культурам, семья может и стимулировать творчество, и гасить его.

Если задуматься, ответственность очень велика. Не случайно до сего момента я старался не думать о ней. Но теперь все будет иначе. Творчество, как и милосердие, начинается дома. И, отправляясь в путь по векам и континентам, я даю себе слово не забывать эту великую истину.



ВСЕ ГЕНИАЛЬНОЕ ПРОСТО: АФИНЫ

«СВЕТ. КАЖЕТСЯ, ЭТО СВЕТ...»

Эта мысль зарождается в моем полусонном мозгу, пробуждая азарт новоиспеченного любителя древностей. Да, свет. Я стряхиваю с себя часы, проведенные в душном салоне «боинга». Свет.

Большей частью я не задумывался о свете. Не поймите меня превратно: свет — дело хорошее. Лучше, чем тьма. И все же я воспринимал его сугубо утилитарно. Но в Греции это невозможно. Греческий свет — живой и динамичный. Он танцует вокруг, отбрасывая всюду отблески и постоянно меняя яркость и оттенки. Греческий свет — сильный и резкий. На него нельзя не обратить внимание, а внимание, как я вскоре пойму, — это первый шаг к гениальности. Я выглядываю из окна такси, прикрывая глаза от яркого утреннего солнца, и спрашиваю себя: неужели я нашел одну из частей греческой картинки-загадки?

Хотелось бы думать, что ключи где-то рядом. Ведь эта загадка мучила поколения историков и археологов, не говоря уже о самих греках. Им не давал покоя вопрос: почему? Почему именно здесь? Почему

в этой земле — залитой солнцем, но не самой примечательной — появился удивительный народ, о котором великий филолог Хамфри Китто сказал: «...не очень многочисленный, не очень могущественный, не очень хорошо организованный, но совсем иначе взглянувший на человеческое предназначение и впервые показавший роль человеческого ума».

Невиданный расцвет был недолгим. Считается, что период «классической Греции» длился 186 лет. Однако его кульминация, время между двумя войнами, охватывает всего 24 года. Что это для человеческой истории? Краткий миг, вспышка молнии в летнем небе, птичий посвист. Почему этот период был столь скоротечен?

Древняя Греция. Такси замедляет ход, медленно пробираясь по улицам (древние весьма удивились бы нашим часам пик!), а я размышляю над этими двумя словами. Мне становится неловко за себя: сколько я еще не знаю и как скучно то немногое, что знаю! Если я и думал о греках, то представлял себе суровых и невеселых людей, ломавших голову над неразрешимыми жизненными проблемами. Что мне до них? Мне надо оплачивать счета, отправлять электронную почту и доделывать срочную работу. Казалось, что древние греки имеют к моей жизни такое же отношение, как кольца Сатурна и тригонометрия.

Однако я ошибался (впрочем, не первый и не последний раз). В древности не найдешь нации более живой и актуальной для нас, чем греки. Все мы немножко греки, знаем мы об этом или нет. Если вам доводилось голосовать, или быть в составе коллегии присяжных, или смотреть кино, или читать роман, или беседовать за бокалом вина с друзьями (хоть о футбольном матче, хоть о сущности истины), вы можете сказать спасибо грекам. Когда вы высказывали разумную мысль, или задавались вопросом «почему?», или в безмолвном изумлении взирали на ночное небо, это было греческое мгновение. Если вы когда-либо говорили по-английски, опять-таки поблагодарите греков — ведь столь много наших слов восходят к богатому греческому языку, что греческий премьер-министр как-то произнес речь на английском языке, используя только греческие заимствования. Грекам мы обязаны демократией, наукой и философией. Они же, к добру или худу, дали нам письменные договоры, серебряные и бронзовые монеты, налоги, письменность, школы, коммерческие ссуды, технические справочники, большие корабли, инвестиции с разделенным

риском и проживание землевладельцев вне своих участков. Почти каждая часть нашей жизни вдохновлена греками, включая само понятие вдохновения. «Благодаря грекам мы стали думать и чувствовать иначе», — говорит историк Эдит Гамильтон.

Такси останавливается возле светло-серого трехэтажного здания, которое выделяется среди соседних построек лишь вывеской: «Hotel Topy». Я вхожу в непрезентабельный вестибюльчик с белыми стенами, уставленный расшатанными стульями и сломанными кофеварками — вещами, в которых больше не нуждаешься, но с которыми жаль расставаться — из сентиментальности или в силу привычки. Как и Греция, гостиница Hotel Topy знала лучшие времена.

То же можно сказать и о самом Тони. Греческое солнце избородило морщинами его лицо, а греческая кухня прибавила полноты и даже монументальности. Тони грубоват и обаятелен, он напоминает старую Грецию времен драхмы. Меньше евро, больше очарования. Подобно многим грекам, Тони очень артистичен. Он говорит чуть громче необходимого, бурно жестикулируя, независимо от темы. Словно выступает в Greek Idol¹. И так все время.

Я плюхаюсь на кровать, достаю из багажа книги и начинаю их перелистывать. Они лишь крупница в море литературы, посвященной Древней Греции. Мой взгляд привлекает необычная книжка под названием «Повседневная жизнь в Афинах времен Перикла» (Daily Life in Athens at the Time of Pericles)². К счастью, она непохожа на обычные исторические труды, которые не только убийственно занудны, но и взирают на события с такой горней высоты, откуда заметны лишь войны, катаклизмы да крупные идеологические движения. Их авторы напоминают метеорологов, которых в погоде интересуют циклоны и антициклоны. Мы, обыватели, воспринимаем погоду иначе: капли ливня на волосах, тепло солнечных лучей на лице, раскаты грома, от которых все замирает внутри. Так и с историей: история человечества — это не череда революций и переворотов. Это повесть о потерянных ключах, подгоревшем кофе и детях, спящих в колыбели. История сложена из мириад повседневных мгновений.

¹ Greek Idol — греческий телеконкурс, в котором зрители определяют лучшего певца. — *Прим. пер.*

² Эту книгу написал Робер Фласельер (1904–1982), видный французский филолог-классик. — *Прим. пер.*

В этой бытовой сутолоке то тут, то там мы слышим тихие шаги гениев. Зигмунд Фрейд лакомится любимыми бисквитами в венском кафе Landtmann. Эйнштейн выглядывает из окна швейцарского патентного ведомства в Берне. Леонардо да Винчи оттирает пот со лба в жаркой и пыльной флорентийской мастерской. Да, этим людям приходили в голову великие мысли, изменившие мир. Но все было неброско. И очень приземленно. Всякий гений, как и всякая политика, неотделим от своей среды.

С этой новой и земной точки зрения я много узнаю о древних греках. Например, они любили танцевать. Интересно, как выглядели такие номера, как «Кража мяса» и «Чесотка»? Я узнаю, что перед физическими упражнениями юноши натирались оливковым маслом и «мужской запах оливкового масла в гимнасии считался более сладким, чем благовония». Оказывается, греки не носили нижнее белье, считали сросшиеся брови признаком красоты, любили слушать пение цикад (а также употреблять их в пищу). Вдобавок ко многим интересным мелочам книга описывает, что греки производили, хотя, к сожалению, не касается важного для меня момента: как они это производили.

Но прежде чем браться за дело, я нуждаюсь в том, чего у древних греков не было: кофе. Однако этот напиток богов нельзя поглощать где угодно. Место имеет значение.

Кафе для меня как дом. Оно яркий пример того, что социолог Рэй Ольденбург назвал «третьим местом». Меню не играет роли (или почти не играет). Главное — атмосфера: не скатерти и мебель, а нечто неуловимое в обстановке, что позволяет ощутить себя легко и спокойно в органичном переплетении стука посуды с мирной тишиной.

Не знаю, как древние, — а нынешние греки далеко не «жаворонки». В восемь часов утра улицы пустыны: лишь кое-где протирает сонные глаза лавочник да мелькнет группа полицейских в экипировке, достойной Робокота, — напоминание о том, что в третьем тысячелетии Афины так же беспокойны, как в античные времена.

Следуя указаниям Тони (он выдавал их, дико размахивая руками), я сворачиваю на тихую улочку, усеянную кафе и магазинчиками, которые олицетворяют уютную общинность, свойственную древнему городу. И вот мое «третье место». Называется оно «Мост». Подходящее название: ведь я собрался строить мост между столетиями...

«Мост» не шикарное заведение, а всего лишь маленькое уличное кафе. Столики расставлены возле дороги: сиди себе и разглядывай прохожих, словно в театре. В таких кафе греки любят проводить досуг — ничего не делают, а просто сидят, компаниями и поодиночке. Сидят в летнюю жару и зимний холод. Могут обойтись без стула: довольно дорожного бордюра или пустой картонной коробки. Никто не умеет сидеть так, как сидят греки.

«Калимэра (добрый день)!» — говорю я и присаживаюсь за столик. Заказываю эспрессо и грею руки о чашку. Утренний воздух свеж, но день обещает быть теплым. «Может, мы обанкротимся — но погода-то останется хорошей!» — оптимистично заявил мне Тони, когда я выходил из гостиницы. И ведь он прав: здесь не только само пространство пронизано светом, но и небо безоблачно триста дней в году. Воздух же достаточно сух. Может, именно климатом объясняется афинский гений?

К сожалению, нет. Возможно, климат сделал мысль древних греков более острой, но не он был ее причиной. Начать с того, что погода в Греции не слишком изменилась с середины V века до н. э., однако гении с тех пор повывелись. В то же время золотые эпохи расцветали и в менее уютных землях — взять хотя бы бардов елизаветинского Лондона: они творили под сумрачным английским небом.

Я заказываю второй эспрессо. В моей голове происходит перезагрузка, и я осознаю, что слишком спешу. Я иду по следу гения, но знаю ли, что это значит? Как я уже сказал, гений — человек, благодаря которому совершается интеллектуальный или творческий скачок. Но кто решает, что считать скачком?

Мы решаем. Фрэнсис Гальтон сделал много ошибок, но его определение гения, хотя и типично сексистское, попадает в яблочко: «человек, которому свет охотно сознает себя обязанным». Примут ли тебя в клуб гениев, зависит не от твоего гения, а от коллег и общества. Это публичный вердикт, а не частное мнение. Согласно одной теории (назовем ее «теорией моды»), в него все и упирается. Считают ли человека гением, целиком зависит от моды и капризов времени. «Творчество невозможно отделить от его признания», — полагает психолог Михай Чиксентмихайи, основной сторонник этой теории. Грубо говоря, гений есть тот, кого назовут гением.

На первый взгляд это нелогично и даже оскорбительно. Не может все упираться в человеческое суждение — есть же и объективные вещи!

Ничуть, отвечают нам. Вспомним Баха. При жизни его не слишком почитали, а «гением» объявили лишь через 75 лет после смерти. Надо полагать, он долго ходил в «непризнанных гениях». Но что это значит? «Что, помимо неосознанного тщеславия, оправдывает данное суждение?» — спрашивает Чиксентмихайи. Утверждение, что это мы открыли гениальность Баха, подразумевает, что наши предшественники были идиотами. А что, если в будущем Баха изгонят из пантеона гениев? Как мы будем выглядеть?

И таких примеров много. Во время премьеры «Весны священной» Стравинского в Париже в 1913 г. зрители освистали артистов. Критики обозвали этот балет «извращением». А теперь говорят: классика. Когда Моне представил публике свой цикл «Кувшинки», искусствоведы называли вещи своими именами: у художника испортилось зрение. И лишь впоследствии, когда абстрактный импрессионизм вошел в моду, эти картины были объявлены гениальными.

Еще один аргумент в пользу «теории моды» — греческие вазы. Сейчас они, на радость туристам, выставлены в музеях по всему земному шару. Они находятся за пуленепробиваемыми стеклами под вооруженной охраной. Однако греки не приходили в восторг от этих ваз, а использовали их в бытовых нуждах. Вазы были самыми обычными предметами. Греческая керамика стала считаться высоким искусством лишь в 1970-х гг., когда художественный Метрополитен-музей в Нью-Йорке заплатил более \$1 млн за одну вазу. Так когда же эти глиняные горшки превратились в творение гения? Нам нравится думать, что вазы были им всегда, просто люди не сразу осознали их гениальность. Но это не единственное возможное объяснение. «Теория моды» предполагает, что вазы стали шедеврами лишь в 1970-х гг., когда это заявил (на языке денег) Метрополитен-музей.

Неужели все настолько субъективно? Мысль об относительности гения беспокоит меня, пока я заказываю еще один эспрессо и обдумываю, как подступиться к решению Великой Греческой Загадки. Почему это место воссияло столь ярким светом? Климат я уже исключил. Может, дело в чем-то столь же простом — в скалистой местности, свободных одеждах или вездесущем вине?

Афины просыпаются, и «Мост» становится удобной точкой обзора. Откинувшись на спинку стула, я вглядываюсь в море лиц. Это ли потомки Платона и Сократа? Таким вопросом задаются и многие ученые.

Один австрийский антрополог заявил, что нынешние греки происходят не от Платона и его соплеменников, а от славян и албанцев, переселившихся сюда столетия назад. Эта теория вызвала в Греции легкий переполох. Грекам не понравилась мысль о том, что они не дети Платона. «Не сомневаюсь, — заявил некий политик, — что мы прямые потомки древних. У нас те же самые пороки!»

И какие пороки! Древние греки были отнюдь не ангелами. Они устраивали дикие недельные праздники, пили вино в невероятных количествах и знали толк в каждой разновидности секса. Но, несмотря на все эти выходки (или благодаря им?), сумели подняться на такие высоты, которые были недоступны иным цивилизациям. Это то, что нам известно и понятно. Остальное мутно, как стакан узо. Более того, мое расследование сталкивается с первой заминкой: оказывается, Древней Греции в строгом смысле не существовало. Существовали Древние *Греции* — сотни независимых полисов (городов-государств), которые, несмотря на общность языка и некоторых культурных особенностей, отличались друг от друга не меньше, чем Канада от ЮАР. У каждого полиса было свое правительство, свои законы, свои обычаи и даже свой календарь. Правда, города торговали друг с другом, соревновались в спорте и подчас вступали в кровавые войны, но большей частью жили сами по себе.

Как такое получилось? Дело в местном рельефе. Скалистый и гористый, он создавал между городами природные барьеры, превращая их в наземные острова. Неудивительно, что в этих землях возникли самые разные микрокультуры.

И это к лучшему. Природе чужд не только вакуум — ей чужда и монополия. Именно времена фрагментации озаменовались самыми существенными творческими скачками. В этом состоит закон Данилевского: народы лучше реализуют свой творческий потенциал, если принадлежат к независимому государству — пусть даже крошечному. Очень разумно! Если считать мир лабораторией идей, то чем больше в ней чашек Петри, тем лучше.

В Греции одна чашка Петри превзошла все другие: Афины. Этот город дал больше блестящих умов — от Сократа до Аристотеля, — чем любое другое место планеты. (Лишь Флоренция эпохи Возрождения отстала ненамного.)

Однако в те времена никто не предрек бы Афинам такое будущее. Начнем с того, что греческая земля мало подходила для земледелия: камни да скалы. «Скелет истощенного недугом тела», — сказал о ней Платон¹. К тому же Афины были маленькими: в них жило не больше людей, чем в канзасском городе Уичито. Были места побольше (Сиракузы), или побогаче (Коринф), или посильнее (Спарта) — но вперед вырвались Афины. Почему? Был ли афинский гений лишь слепым везением, — «счастливо сошлись обстоятельства», как выразился историк Питер Уотсон, — или афиняне сами стали кузнецами своего счастья? Боюсь, эта загадка поставила бы в тупик и Дельфийского оракула.

И все же, основательно накофеинившись и преисполнившись простодушной отваги, я отправляюсь искать ключи к тайне. Для начала, решаю я, следует пообщаться с нужными людьми.

«Добро пожаловать в мой кабинет», — произносит Аристотель с театральным, а-ля Тони, жестом руки. Чувствуется, что эта фраза ему привычна. И его можно понять: ведь мы находимся над Афинами, на вершине Акрополя.

Мы встретились несколькими часами ранее, в вестибюле Hotel Topy. Поначалу мне показалось, что на грека он не похож: светлая кожа, непослушные рыжие волосы, свисающие на лицо подобно занавеске. Но вскоре я понял, что моя мысль смехотворна: типично греческой внешности не существует, как не существует внешности французской или американской. Греки не одна раса и никогда ею не были.

Второе впечатление: мой собеседник выглядит возбужденным. В чем дело? Быть может, сказывается стресс из-за непрерывного кризиса, что царит ныне в Греции? Непонятно. Но сомнений нет: он далек от спокойствия. Однако, пока мы идем и разговариваем, я понимаю, что принял за нервозность страсть — страсть к истории, которая струится сквозь него током в 220 вольт (а может, и больше).

Мы шагаем к Акрополю, и я ожидаю подходящего случая, чтобы узнать имя своего гида. А услышав, что его зовут Аристотель, нахожу это знаменательным. Что может быть более правильным и более греческим, чем идти по стопам Аристотеля вместе с Аристотелем?

¹ В диалоге «Критий». Цитируется в пер. С. Аверинцева по изд.: Платон. Собрание сочинений в четырех томах. Т. 3. — М.: Мысль, 1994. — *Прим. пер.*

Мы пересекаем пешеходную улицу, уже полную прохожих. И тут я решаю взять быка за рога, вспомнив великого философа.

— Какое у вас интересное имя, Аристотель, — робко говорю я.

Спутник пожимает плечами.

— Неудобное имя, — коротко отвечает он, оставляя меня гадать, в чем же состоит неудобство. Друзья называют его Ари — к его величайшему неудовольствию. Впрочем, признает он, это хотя бы как-то отдаляет его от философа, а также от Аристотеля Онассиса — судовладельца, миллиардера и мужа Жаклин Кеннеди.

Мы обходим туристов и спецподразделение полиции. Аристотель рассказывает, как стал гидом-экскурсоводом. Он хотел служить в греческой армии, но его не взяли. Почему не взяли, я не понял, а расспрашивать не стал: чувствовалось, что вопрос болезненный. Тогда Аристотель занялся археологией, с головой уйдя в прошлое. И не просто прошлое, а прошлое, отстоящее от наших дней на полтора тысячелетия. Его специальность и страсть — античные кровли. Оказывается, о цивилизации можно многое узнать по кровлям.

— Мы сейчас ведем себя очень по-гречески, — замечает Аристотель.

— Неужели? Мы ведь просто идем.

— Вот именно. Древние греки много ходили.

И не просто ходили: думали и философствовали на ходу.

И, как обычно, знали, что делают. Ведь многие гении создали свои шедевры во время прогулок. Работая над «Рождественской песней», Диккенс исходил десятки километров по ночным лондонским улицам. Марк Твен тоже много прогуливался, хотя большей частью возле рабочего стола. Его дочь вспоминает: «Диктуя, отец нередко ходил туда-сюда... И тогда казалось, что в комнату вливается свежий дух».

А недавно ученые решили изучить взаимосвязь между ходьбой и творчеством. Стэнфордские психологи Мэрили Оппеццо и Дэниэл Шварц провели эксперимент, в котором участвовали две группы людей: одни ходили, другие сидели. Обе группы выполняли «тест Гилфорда на альтернативное использование»: придумывали нестандартное применение обычному предмету. Цель этого теста — измерить «дивергентное мышление», один из важных компонентов творчества. Дивергентное мышление — это способность решать задачи разными и подчас неожиданными способами. Дивергентное мышление

спонтанно и свободно. Напротив, конвергентное мышление более линейно и предполагает сужение, а не расширение возможностей. Конвергентные мыслители пытаются найти единственный правильный ответ на вопрос. Дивергентные мыслители ищут нетривиальный ракурс.

Судя по результатам, опубликованным в *Journal of Experimental Psychology*, древние греки интуитивно догадались о чем-то важном. Креативность «стабильно и значительно» повышалась во время ходьбы. Причем, что удивительно, не имело значения, ходил ли человек по улице или в помещении на беговой дорожке перед пустой стеной, — все равно творческих решений было в два раза больше, чем у «сидельцев». Чтобы подстегнуть креативность, долго ходить не требовалось: хватало от 5 до 16 минут.

Древние греки, жившие за столетия до беговой дорожки, ходили по улице. И вообще все делали на улице. Дом служил главным образом спальней. Если не считать сна, греки оставались там не более получаса. («Как раз достаточно, чтобы сделать все дела с женами», — замечает Аристотель, когда мы подходим к воротам Акрополя.) Остальное время они проводили на агоре (городской площади), занимались в гимнасии или палестре (местах для физических упражнений) или ходили по холмам, окружающим город. И все эти занятия не были второстепенными, ибо, в отличие от нас, греки не проводили четкой границы между физической и умственной деятельностью. Знаменитая Платоновская академия, предшественница нынешних университетов, была местом не только философских дискуссий, но и телесных упражнений. Тело и ум считались неразрывными частями целого. Как говорится, в здоровом теле здоровый дух. Помните роденовского «Мыслителя»? Настоящий греческий идеал: мускулистый мужчина, погруженный в раздумья.

А вот и сам Акрополь («верхний город»). Это не здание, а место на высоком холме с плоской вершиной и родниковыми источниками поблизости. Такое расположение неслучайно. Греков отличало тонкое чувство пространства. Скажем, Сократ превозносил выгоды ориентации дома на юг за два тысячелетия до нью-йоркских агентов по недвижимости. Здания были не просто сооружениями — каждое обладало духом, «гением места» (*genius loci*). Греки были убеждены, что качество мысли определяется тем, где человек при этом находится.